

Оглавление

ГЛАВА 1. Маслорельс	5
ГЛАВА 2. Прибехровское радушие	19
ГЛАВА 3. Шенна	28
ГЛАВА 4. Бругожеле.....	45
ГЛАВА 5. Вкус товарищества.....	78
ГЛАВА 6. Шваржаг	133
ГЛАВА 7. Нимфа	152
ГЛАВА 8. Мякиш	187
ГЛАВА 9. Красное на белом	225
ГЛАВА 10. Барон любит тебя	267
ГЛАВА 11. Болото памяти	303
ГЛАВА 12. Иллюзия мести.....	345
ГЛАВА 13. Башня Дураков	394
ГЛАВА 14. Прогулки под фонарями	411
ГЛАВА 15. Будущее не за горами	454
ГЛАВА 16. Сирота.....	522
ГЛАВА 17. Зеленая пьеса.....	533
ГЛАВА 18. У обрыва.....	598
ГЛАВА 19. То, что кончается.....	616
ГЛАВА 20. Черновик	640
ЭПИЛОГ	683
От автора	700

Глава 1. Маслорельс

Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

Торгаш сказал мне: мол, все дороги ведут в Бехровию. А жрец в храме — что все пути сходятся в преисподней. Тогда-то в головушке сложилось: это не совпадение; Бехровия есть ад на земле!.. И в тот же день я начала убивать.

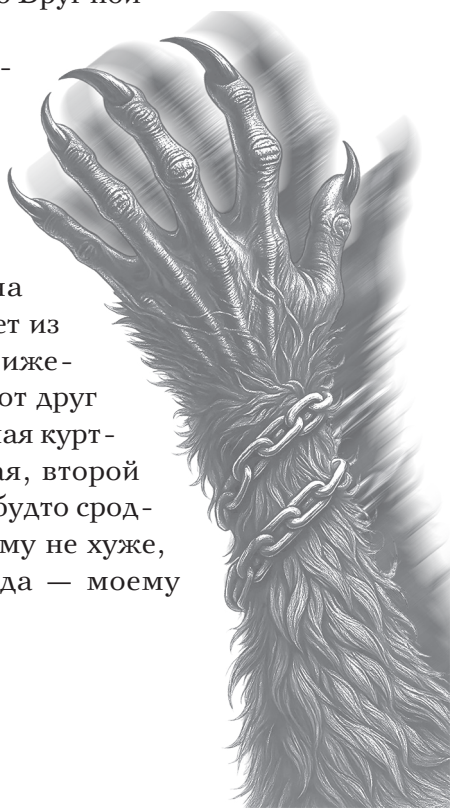
Хильда Хлеборезка, осужденная на казнь. Последние слова

Банально прозвучит, но любовь нужна всякому, и всякий ее жаждет. Пусть придется врать и идти по головам, она стоит того. Даже впустить беса в свою черную душу — и то будет малой платой за капелючку любви.

Бес уже дремлет внутри, но Бруг пойдет дальше. Особенно Бруг.

Он не станет скрести по сусякам, обхаживая случайных девиц. Он вернет старую любовь — ту, что причиталась ему по праву силы. И наконец-то отомстит.

Потому я здесь. Сажу на скамье, пока меня покачивает из стороны в сторону в такт движению вагона. На груди звякают друг о друга звенья Цепи, а любимая куртка, вороная и чуть хрустящая, второй кожей обнимает плечи. Она будто сроднилась с телом и подходит ему не хуже, чем смолисто-черная борода — моему лицу.



Говорят, то лицо преступника... но всё куда страшнее.

То лицо Бруга.

— И как, говоришь, эта штука называется? — Я прищуриваюсь по-кошачьи, разглядывая плафон, что дрыгается под потолком туда-сюда. — Масло... рельс?

Этот вагон чуточку отличается от остальных. Здесь нет узких полок для спанья, а по коридору не кочуют масел-проводники со скрипучими тележками, нагруженными съестным до отвала. Здесь даже не глушат лампы по ночам. Хоть время и позднее, блики плафона и теперь скачут по лакированным столам и скамейкам, а иногда шаловливо перебегают в сторону и спят масел-кельнера. Тот чертыхается, секунду свирепо глядит на плафон — и снова трет чашки из-под гешира и кавы, лениво-лениво.

— А? Ну да, ну да, маслорельс, — сбивчиво бубнит сосед по столику, отвлекшись от очередной пинты «Светлого республиканского», вроде четвертой или пятой. — Говорят, чудо масел-техники, ходит только обратно и туда... ну, куда мы едем, собсна.

Это средних лет мужчинка, одетый прилично: узкие клетчатые брюки с замаявшимися стрелками, не первой свежести рубашка, перехваченная подтяжками крест-накрест. И растянутый платок на красной, блестящей от пота шее.

— А построил его кто? — Сосед шумно втягивает пену ртом, уставившись на меня поверх кружки. И, почмокав влажными мясистыми губами, сам же отвечает: — Гремлины, етить их. Чудо техники, чудо техники... Тьфу, вонючие недолюды! Уж если б не фирма папаши, ноги моей не было бы в этой,

етить, Бехровии... Слышь, Бе-хрен-ровии! Хрен, понял? А-ха-ха!

Он громко хохочет и для весомости хлопает ладонью по столу. Он ожидает бурной реакции и от меня, но я лишь расплываюсь в хитрой ухмылке.

— Не любишь гремлинов, да? — подначиваю его, выплескивая в стакан еще каплю бурбона «Хро-ки-Доки». Граненое стекло вмиг потеет, как и холдная, из ведра со льдом, бутылка. — И почему же?

— А чего их любить, этих земляных червяков? У нас в фирме никогда недолюдов не работало! Ни свинушей, ни гремлинов. Про упырей вонючих вообще молчу! Я, Вильхельм Кибельпотт, презираю всех, етить, до одного! Хвала Двуетидному, что тут их садят в отдельный вагон.

— Ха! Вилли, Вилли... Вот ты сидишь со мной за одним столом, платишь за мой бурбон. Мы с тобой болтаем, весело проводим время. — Кожаная куртка трещит, когда я наклоняюсь к нему. — Да, Вилли, весело же, черт подери?

Вильхельм, помедлив, утвердительно кивает и еще ослабляет платок на шее.

— Отлично, отлично, Вилли, — треплю я его по плечу. — Не забывай: меня зовут Бруг, и я твой друг. Но что, если... Что, если Бруг — тоже недолюд?

На отеком лице Вилли — мимолетное замешательство, внутри меня — тайное удовлетворение. Недоверчивый, исподлобья взгляд Кибельпотта раздувает в груди огонек превосходства: есть в его тупом непонимании что-то от жертвы. Мои губы непроизвольно растягиваются, обнажая крупные зубы.

— Да не заморачивайся, дружище. Я же пошутил!

— Ты, етить, так больше не шути, друг! — По красному виску спадает капля пота. — Я ж это, презираю всех этих упырей.

— Не ты один. Не ты один, Вилли! — Одним глотком осушаю стакан бурбона, чуть морщусь от горечи: никогда он не был мне по вкусу, уж слишком отдает бочкой, будто жуешь проспиртованную кору... Но я не отказываюсь от бурбона, ведь по себе знаю, как легко обидеть собутыльника. А обижать Вилли — последнее, что мне нужно, по крайней мере пока.

— А пойдем прикончим по папироске, а? — предлагаю я. — В этот раз угощает старина Бруг!

Вильхельм облегченно хохочет, подскакивает с места, спешно собирается. Нетвердыми пальцами пробует развязать узел шейного платка, но только сильнее его затягивает. В конце концов он раздраженно машет пятерней, допив остатки «Светлого республиканского», и направляется к выходу из вагона-ресторана. А я сую за пазуху недопитый «Хроки-Доки»: бурда, конечно, но кто знает, когда еще мне подвернется питейная?

Свободный нужник находится в конце другого вагона. Это каморка с низким потолком, тесная настолько, что мы с Вилли едва помещаемся. Все-му виной умывальник, выпирающий слева, и дыра в полу у дальней стены. Ее металлический обод заляпан человеческой неловкостью, а изнутри оглушительно грохочут колеса маслорельса. Над нужником качается веревка, рядом с ней табличка: «Дернуть для смыва». Вполне себе миленько, если забыть, что от дыры нещадно несет нечистотами и кислым, ни на что не похожим запахом масла.

Зато глянешь внутрь — и увидишь проносящиеся мимо булыжники, устилающие дорогу меж рельсами. Я подталкиваю Вилли к нужнику: двигай, мол, а сам задвигаю щеколду на двери.

Так, и где папиросы? В кармане только угловатая бутылка бурбона... Как же она меня раздражает! Пусть побудет пока в умывальнике.

— Да где...

А вот и картонная пачка, в том же кармане, мягкая и расплющенная. Когда я расправляю ее, на пол сыплется курительный дымлист: несколько папирос не пережили соседства с «Хроки-Доки».

— Эти две, кажется, еще ничего. — Я довольно щурюсь, зажав одну длинную серую папиросу зубами, а другую протягивая Вилли. — Выменял у какой-то шалавы под Стоцком... Да не бойся, Вилли, она была не чумная! — почти кричу, чтобы перекрыть лязг колес под полом. — Видишь красную полоску на бумаге? Полоска, говорю, да. Такая есть только на стоцких папиросах. А пахнут они... — захожусь кашлем, — дерьмом. Черт, да как же тут несет!

Кибельпотт долго трет нос, прежде чем ответить. Голос его меняется, становится гнусавым. Видно, что он старается больше дышать ртом, и теперь говорит с паузами:

— Это еще чего, не сильно-то и воняет... — Вдох. — Вот мы с братьями моими, Билли и Гелли, как-то бывали во Мражецкой кумунне... — Еще вдох. — Это на границе с Рысарством, где дамба проходит. Там, етить, во-о-от такенный квартал у свинушей, прям-таки свинарник!

Вилли глуповато гогочет, но тут же кривится, глотнув воздуха с избытком.

— Кхе, так вот... Ночью мы с братьями, ну, с Гелли и Билли, прокрались на двор одной свинушки...

И знаешь чего? Ха, мы сперли у нее свинушонка! Они все спят в бараке, по десять штук, в брезентовых штанах, чтоб грязью да говешками не засрались... — Он брезгливо сплевывает в отхожую дыру. — Так мы схватили его — и бежать. А он визжит, дрянь, как молочный поросенок! Да и выглядит, и воняет, как простой поросенок, только в штанах, етить.

Вилли передержал папиросу во рту и теперь сдавленно кашляет. Я не перебиваю его, только выпускаю облачко дыма сквозь недобрую усмешку. Грудь приятно холодит там, где Цепь скользит под воротом куртки.

— И на костре он тоже визжал, как поросенок! Не хотел жариться, дык мы ему перебили ноги камнем. И даже пахло от него шкварками, прикидываешь, Бруг? — Вильхельм Кибельпотт уже не в силах остановиться, в его глазах вспыхивает огонек. Я вдруг ясно вижу в нем дряблого пацана, мучающего слепых котят. Мальчишку, которого смешивают с грязью даже старшие братья. Который сам потом топит в грязи пищащего звереныша.

А Цепь продолжает ползти, ползет сама по себе, огибая под мышкой плечо, спускаясь в туннель рукава.

Наверное, поначалу Вилли топил котят из чистого любопытства: мол, а что станет с блохастиком, если его вот так? А дольше он может? Ой, как смешно он фыркает, отплевываясь от воды! Но только всё не тонет, не тонет. И чего это он не тонет?!

— Гелли попробовал его на вкус, но тут же стошнился, етить... Так мы запихнули поросю яблоко в рот и бросили во дворе у той же свинушки. Ну, через забор киданули, как стемнело...

Я почему-то вспоминаю отца. Нет, он не из тех, на ком срывались в детстве. Он сам на всех срывался, с младенчества, как хвастал дед, и до сих дней... Последние годы дед уже не хвастал — отец зарубил его в поединке, чтоб занять место барона. Зато все остальные и ныне ползали перед ним, как побитые собаки.

А я ползал усерднее всех, ведь и прилетало мне в разы сильнее. Нагайкой. По спине, ребрам и плечам, пуская кровь и сдирая лоскуты кожи. Отец останавливался только в двух случаях. Во-первых, когда уставало запястье, а уж оно у него было натренировано. Да и устань правая — всегда можно поработать левой. А во-вторых... Иной раз он откладывал нагайку от скуки: в чем интерес хлестать кого-то в отключке? Мальчишку, что не стонет, не скулит, не царапает лоб об половицы?

Уж и не знаю, сколько раз я превращался в половую тряпку. Неживую, скучную. Пропитанную потом и мочой, кровью и отцовским презрением.

— Если б ты только знал, как выла мамка-свиноматка! Вой стоял, етить, на весь свинушник!

Я перехватываю папиросу левой рукой — почти как отец нагайку — и затягиваюсь до отказа. Она обжигает пальцы, позади языка стоит горечь, от дыма в горле уже не продохнуть, но я не чувствую облегчения. Курево не отдает в мозг, не слабит колени, как бывает обычно. А вот колотит меня так, будто выгнали голым на мороз — отец однажды выгнал, и мне не понравилось. Мои губы сжаты, легкие горят, моля о капле свежего воздуха...

Цепь змеей вьется ниже локтя, и первое звено уже гладит ладонь. И я наконец выдыхаю:

— Обними.

Цепь делает рывок. В глазах меркнет, и сквозь белесую пелену гнева я различаю, как металл стягивает красную шею Вилли Кибельпотта. Мои руки помогают Цепи закончить. Хрипы кажутся мне не громче голоса собственной совести, а она очень молчалива. Шепчет что-то неразборчивое, еле-еле, даже когда тот, кто оплачивал мне выпивку, падает на колени. Он царапает ногтями Цепь, но металлу плевать, металл — не шейный платок.

Во мне нет удивления или сострадания — я, кажется, давно не ощущал ни того ни другого. Зато я чувствую гнев и боль и знаком с ними прекрасно. А еще — с жаждой любви. Раз меня не полюбят по-хорошему, я возьму свое насильно. И если для этого нужно «обнять» пару человек... Разве кто-нибудь заслуживает любви больше меня? Разве мне хватало объятий? Так думаю я, Бруг, упираясь коленом в спину своего попутчика, пока шея его не издаст хруст.

И хруст этот звучит... окончательно.

Однажды я услышал от старого безногого контрабандиста занимательную вещь: если смог пролезть куда-то таз, пролезут и плечи. Дальше, мол, дело техники. Сегодня я узнал вторую половину этой житейской мудрости. Оказывается, если пинать кого-то достаточно долго, в дыру клозета пролезет даже такой жирдяй, как Вилли Кибельпотт. Хотя вначале его таз упорно не помещался в отверстии, я оказал ему последнюю услугу. Ведь Бруг — твой друг, помнишь, сучий потрох?

Тот безногий не поделился, как стал калекой, рассказали его дружки: старик застрял в лазе лишь единожды, зато наверняка. Хороший контрабан-

дист — тот, которого сложно найти, а он был профессионалом! И когда его тайный ход наконец отыскали, крабы уже обглодали бедолагу до колен.

Вилли тоже совершает свою последнюю высадку — падение вниз. Сочный шмяк о камни перевала. Хрупанье костей, перемолотых бездушными деталями вагона. Всего мгновение — и последние звуки Кибельпоттова тела тонут в грохоте масел-колес.

«Дерни для смыва!» — напоминает мне табличка. И я послушно смываю за попутчиком, что вышел по ходу движения.

Но Вилли высадился не в полном порядке: помимо пары шейных позвонков и содержимого карманов, я лишил его указательного пальца с безвкусным колечком из фальшивого золота. Такой пухлый палец было трудно откусить, но я справился, и теперь этот трофей отдыхает в пачке из-под стоцких папирос.

Осталось только рот прополоскать. Бурбон подойдет, ведь вкус Кибельпотта соответствует его душонке.

— Документы, пожалуйста.

Шинель констебля такая же серая, как и его небритое лицо. Глаз не видно под шлемом с кокардой в виде пустой птичьей клетки. У легавых здесь, как погляжу, это любимый символ, он везде: и на касках, и на воротниках, и на рукавах, только материал разный. У хмурого, например, клетка из желтой латуни.

— Проходите. Добро пожаловать в Бехровию.

Но в голосе ни намек на гостеприимство. Выпущая очередного пассажира из вагона, констебль задает шаблонные вопросы и проверяет документы на

въезд. Наклоняет по-разному и изламывает страницы, чтобы по буквам прошел блик, потом дотошно трет печати и ищет ошибки в заполнении полей.

Вот у какой-то женщины нашлась опечатка в титуле. Тотчас два других констебля, с клетками поменьше и уже из стали, оттаскивают хнычущую «гвафиню» под руки, гулко стуча сапогами. И я очень сомневаюсь, что они просто выпьют по чашке гешира и посадят дамочку на обратный маслорельс...

Но я другое дело, так? Всё будет в порядке, Бруг. А пока просто возьми себя за то самое и надень эти дурацкие перчатки без пальцев. Успокойся. Не торопись.

— Документы, пожалуйста.

О, вот и моя очередь.

— Держи, дружище. — Послушно протягиваю документы в красной обложке с выдавленным на коже гербом Республики — косым крестом в форме буквы X.

Констебль неприязненно выпячивает подбородок. Под шлемом не разглядишь, но я-то знаю: он сверлит взглядом скандальный республиканский крест.

— Вильхельм Хорцетц Кибельпott, — цедит сквозь зубы «латунный», пробегая по строкам. — Цель визита?

— По работе, кум, — пародирую республиканскую манеру говорить. — Надо уладить пару делишек, етить, в фирме моего папаша.

Констебль проверяет порядок печатей, особые защитные чернила, и делает это много дольше, чем прежде. Мне даже кажется, что еще немного — и он нарочно отколупает какую-нибудь букву, а свалит всё на фальшивый документ. И хотя я не сомневаюсь, что мой пропуск — вернее, пропуск Вилли —

подлинный до последней странички, беспокойство не покидает.

Но вот констебль закрывает документы, однако возвращать не спешит.

— Последняя формальность, господин Кибельпотт. — Он достает из кармана маленькую неброскую шкатулку. — Предъявите отпечаток.

Вилли говорил об этом, и Бруг подготовился. Но под сердцем всё равно тянет от тревоги.

— Чего отпечаток? — Я сглатываю, в то время как Цепь подрагивает вокруг моих ребер. Она очень чувствительна к психической энергии, а эта шкатулка, похоже, прямо кишит ею.

— Отпечаток пальца, господин Кибельпотт. Вас уже считывали в посольстве, когда выдавали этот пропуск. — Он трясет красной корочкой возле уха.

Ухмыляется, скот. А я-то думал, его хмурую мину ничем не проймешь. Хочется плюнуть ему на латунную клетку. О да, это будет жутко приятно... но и рискованно. Может, в другой раз.

— А, это... — Натягиваю улыбку. — Ну давай, верти уже свою шарманку.

Констебль подкручивает заводное устройство на дне шкатулки, и та раскрывается с подозрительным тархтением. Внутри тканая подушечка, пропитанная синей краской, и крошечное зеркальце. Малюсенькое, со спичечный коробок, и такое... мутное, что ли. Как озерная гладь у берега, где ил взбаламутили чьи-то шаги. Это зеркальце отлито из менталя — металла, что реагирует на нелюдей.

— Не задерживайте очередь, господин Кибельпотт. Опустите палец на штемпельный валик, потом — на психодиск.

Честно, я в душе не чаю, что такое штемпель, но суть понял, не дурак. Облизываю губы и разминаю

руку, ту, которой сейчас потянусь к валику-подушечке.

— Не смажьте чернила, — отзывается констебль. — Если отпечаток не будет похож на тот, что в документах, то...

Сам знаю *что*. А вот тебе лучше не знать.

Подушечка должна быть прохладной на ощупь, но я ее не чувствую. А вот палец, напротив, руку холодит — быстро остывает, зараза. Ну, и что там? Кажется, окрасился. Хотя как тут быть уверенным, раз не ощущаешь прикосновения? Было бы странно, ощущай я им хоть что-то, палец-то мертвый, ничуть не живее самого Кибельпотта, которому принадлежал. Стараюсь двигаться естественно, как если бы не удерживал обрубок внутри исцарапанной перчатки.

Кусочек настоящего Вилли оставляет на зеркальце темно-синий след. Для меня это просто овальное пятно, но для подошедшего «стального» констебля всё иначе. Под правой бровью у него странная конструкция из кучи линз и рычажков, и он, зажмурившись невооруженным глазом, суетливо склоняется над шкатулкой. Дергает рычажки — и линзы тасуются, как игральные карты. Наверное, в порядке их движения есть смысл, но для меня это сродни колдовству. «Стальной» упорно крутится над запачканным зеркальцем, а потом, вздохнув, — над страницей в документе, где тоже есть отпечаток. Его при жизни делал сам Вилли.

— Совпадают, господин главный инспектор.

Я расплываюсь в довольной улыбке. А ты чего ожидал, господин главный хмурый черт?

— Уверен? Проверь еще на психику, а вы, — понижает голос «латунный», обращаясь ко мне, — еще раз положите палец на психодиск!

— Это мне снова пачкаться, кум? — Я скрепчиваю руки на груди, сую их под полы куртки. — Сколько можно?

В очереди уже недовольно бухтят. Слышу за спиной цоканье языком, нервное топтание... Кто-то, набравшись смелости, даже повторяет мой вопрос, но уже более возмущенно:

— Да сколько можно, господаре?!

Умничка. Эти люди нравятся мне не больше прочих...

— Нет, сразу на психодиск. Побыстрее!

...Но их шумная толкотня бывает полезна. Например, можно успеть спрятать какую-нибудь мелочь. Скажем, обрубок пальца.

Зеркальце на ощупь что лед: кажется, передержишь палец самую малость, и он прилипнет, как язык к дверной ручке в лютый мороз. Говорят, менталь раскаляется, тронь его упырь или одержимый, и тут уж даже самый крепкий поморщится. Но даже если не подаст виду... всё равно напрасно: легаши, может, не самые умные товарищи, однако запах паленой кожи ни с чем не спутаешь.

Я, к счастью, не упырь. Да и бес надо мной не властен... вроде... Однако и человеком меня называть с уверенностью нельзя. И как узнать заранее, расплавит тебе кожу или нет, когда даже спросить не у кого? Сложно предсказывать будущее, когда и решить не можешь окончательно, исключение ты или ошибка.

Я держусь невозмутимо, разве что щека предательски подрагивает. Чешу ее без желания, но с таким мстительным рвением, словно это она во всем виновата. Она, а не мои расшатанные нервы.

— Ну что, кум, — щека горит в том месте, где ноготь был особенно груб, — теперь-то я могу идти?

«Латунный» констебль не отвечает, лишь досадливо захлопывает и сует в карман шкатулку.

Впереди морено-деревянный проем, ярко-плафонный и теплый, за ним — бесцветная улица, где пропадают за ограждением редкие пассажиры. Пропадали, пока я не устроил затор... Прибехровые пахнут влажными сумерками с примесью угольной пыли и кислятины масла. Казалось бы, вот оно, дерзай! Однако какое-то трусливое сомнение держит меня за пятки, не давая сойти с места, будто окоченевшие руки Вилли Кибельпотта проросли сквозь пол, желая вернуть откушенный от них кусочек. У меня нет выбора: маслорельс обратно не пойдет, только дальше и дальше к центральному вокзалу, людному и яркому. Но я должен побыть в тишине, собрать половинки себя воедино.

В грудь тыкается документ на въезд, красный, с косым крестом. Это подстегивает, и я срываюсь с места, пропадая в незнакомом городе. Вдогонку мне летят слова констебля, но мысли мои слишком зациклены, чтобы уловить еще и чужие. Последнее, что я помню, — низко надвинутый шлем с желтой кокардой и шевелящиеся губы.

